

ДЫМ

Автор:

Иван Тургенев

Дым

Иван Сергеевич Тургенев

Все великое земное Разлетается, как дым... Но добрые дела не разлетаются дымом они долговечнее самой сияющей красоты... Безупречное литературное мастерство И.С. Тургенева соотносится со столь же безупречным знанием человеческой души. Он обогатил русскую литературу самыми пленительными женскими образами и восхитительными, поэтичными картинами природы. Иван Сергеевич Тургенев принадлежит к числу писателей, внесших наиболее значительный вклад в развитие русской литературы второй половины XIX в. Реальная картина современной жизни в его произведениях овеяна глубоким гуманизмом, верой в творческие и нравственные силы родного народа, в прогрессивное развитие русского общества.

Иван Тургенев

Дым

I

10 августа 1862 года, в четыре часа пополудни, в Баден-Бадене, перед известною "Conversation" толпилось множество народа. Погода стояла прелестная; все кругом – зеленые деревья, светлые дома уютного города, волнистые горы, все празднично, полною чашей раскинулось под лучами благосклонного солнца; все улыбалось как-то слепо, доверчиво и мило, и та же

неопределенная, но хорошая улыбка бродила на человеческих лицах, старых и молодых, безобразных и красивых. Самые даже насурьмленные, набеленные фигуры парижских лореток не нарушали общего впечатления ясного довольства и ликования, а пестрые ленты, перья, золотые и стальные искры на шляпках и вуалях невольно напоминали взору оживленный блеск и легкую игру весенних цветов и радужных крыл; одна лишь повсюду рассыпавшаяся сухая, гортанная трескотня французского жаргона не могла ни заменить птичьего щебетанья, ни сравниться с ним.

А впрочем, все шло своим порядком. Оркестр в павильоне играл то попури из "Травиаты", то вальс Штрауса, то "Скажите ей", российский романс, положенный на инструменты услужливым капельмейстером; в игорных залах, вокруг зеленых столов, теснились те же всем знакомые фигуры, с тем же тупым и жадным, не то изумленным, не то озлобленным, в сущности хищным выражением, которое придает каждому, даже самым аристократическим чертам картежная лихорадка; тот же тучноватый и чрезвычайно щегольски одетый помещик из Тамбова, с тою же непостижимою, судорожною поспешностью, выпуча глаза, ложась грудью на стол и не обращая внимания на холодные усмешки самих "крупиз", в самое мгновение возгласа "Rien ne va plus!" рассыпал вспотевшею рукою по всем четвероугольникам рулетки золотые кружки луидоров и тем самым лишал себя всякой возможности что-нибудь выиграть даже в случае удачи, что нисколько не мешало ему, в тот же вечер, с сочувственным негодованием поддакивать князю Коко, одному из известных предводителей дворянской оппозиции, тому князю Коко, который в Париже, в салоне принцессы Матильды, в присутствии императора, так хорошо сказал: "Madate, le principe de la propriete est profondement ebranle en Russie".

К русскому дереву - а l'Arble russe - обычным порядком собирались наши любезные соотечественники и соотечественницы; подходили они пышно, небрежно, модно, приветствовали друг друга величественно, изящно, развязно, как оно и следует существам, находящимся на самой высшей вершине современного образования, но, сойдясь и усевшись, решительно не знали, что сказать друг другу, и пробавлялись либо дрянненьким переливанием из пустого в порожнее, либо затасканными, крайне нахальными и крайне плоскими выходками давным-давно выдохшегося французского экс-литератора, в жидовских башмачонках на мизерных ножках и с презренною бородкой на паскудной мордочке, шута и болтуна. Он им врал, а ces princes russes, всякую пресную дребедень из старых альманахов "Шаривари" и "Тентамарра", а они, ces princes russes, заливались благодарным смехом, как бы невольно сознавая и подавляющее превосходство чужестранного умника, и собственную

окончательную неспособность придумать что-нибудь забавное.

А между тем тут была почти вся "fine fleur" нашего общества, "вся знать и моды образцы". Тут был граф Х., наш несравненный дилетант, глубокая музыкальная натура, который так божественно "сказывает" романсы, а в сущности, двух нот разобрать не может, не тыкая вкось и вкривь указательным пальцем по клавишам, и поет не то как плохой цыган, не то как парижский коафер; тут был и наш восхитительный барон Z., этот мастер на все руки: и литератор, и администратор, и оратор, и шулер; тут был и князь Т., друг религии и народа, составивший себе во время оно, в блаженную эпоху откупа, громадное состояние продажей сивухи, подмешанной дурманом; и блестящий генерал О. О... который что-то покори́л, кого-то усмирил и вот, однако, не знает, куда деться и чем себя зарекомендовать и Р. Р., забавный толстяк, который считает себя очень больным и очень умным человеком, а здоров как бык и глуп как пень...

Тот же Р. Р. почти один в наше время еще сохранил предания львов сороковых годов, эпохи "Героя нашего времени" и графини Воротынской. Он хранил и походку враскачку на каблуках, и "le culte de la rose" (по-русски этого даже сказать нельзя), и неестественную медлительность движений, и сонную величественность выражения на неподвижном, словно обиженном лице, и привычку, зевая, перебивать чужую речь, тщательно рассматривать собственные пальцы и ногти, смеяться в нос, внезапно передвигать шляпу с затылка на брови и т. д. и т. д. Тут были даже государственные люди, дипломаты, тузы с европейскими именами, мужи совета и разума, воображающие, что золотая булла издана папой и что английский "poor-tax" есть налог на бедных; тут были, наконец, и рьяные, но застенчивые поклонники камелий, светские молодые львы с превосходнейшими проборами на затылках, с прекраснейшими висячими бакенбардами, одетые в настоящие лондонские костюмы, молодые львы, которым, казалось, ничего не мешало быть такими же пошляками, как и пресловутый французский говорун; но нет! не в ходу, знать, у нас родное, – и графиня Ш., известная законодательница мод и гран-жанра, прозванная злыми языками "Царицей ос" и "Медузой в чепце", предпочитала, в отсутствии говоруна, обращаться к тут же вертевшимся итальянцам, молдаванцам, американским "спиритам", бойким секретарям иностранных посольств немчикам с женоподобною, но уже осторожною физиономией и т. п.

Подражая примеру графини, и княгиня Babette, та самая, у которой на руках умер Шопен (в Европе считают около тысячи дам, на руках которых он испустил

дух), и княгиня Annette, которая всем бы взяла, если бы по временам, внезапно, как запах капусты среди тончайшей амбры, не проскакивала в ней простая деревенская прачка; и княгиня Pachtette, с которой случилось такое несчастье: муж ее попал на видное место и вдруг, Dieu sait pourquoi, прибил градского голову и украл двадцать тысяч рублей серебром казенных денег; и смешливая княжна Зизи, и слезливая княжна Зозо – все они оставляли в стороне своих земляков, немилостиво обходились с ними... Оставим же и мы их в стороне, этих прелестных дам, и отойдем от знаменитого дерева, около которого они сидят в таких дорогих, но несколько безвкусных туалетах, и пошли им господь облегчения от грызущей их скуки!

II

В нескольких шагах от "русского" дерева, за маленьким столом перед кофейней Вебера, сидел красивый мужчина лет под тридцать, среднего роста, сухощавый и смуглый, с мужественным и приятным лицом. Нагнувшись вперед и опираясь обеими руками на палку, он сидел спокойно и просто, как человек, которому и в голову не может прийти, чтобы кто-нибудь его заметил или занялся им. Его карие, с желтизной, большие, выразительные глаза медленно посматривали кругом, то слегка прищуриваясь от солнца, то вдруг упорно провожая какую-нибудь мимо проходившую эксцентрическую фигуру, причем быстрая, почти детская усмешка чуть-чуть трогала его тонкие усы, губы и выдающийся крутой подбородок. Одет он был в просторное пальто немецкого покроя, и серая мягкая шляпа закрывала до половины его высокий лоб. На первый взгляд он производил впечатление честного и дельного, несколько самоуверенного малого, каких довольно много бывает на белом свете. Он, казалось, отдыхал от продолжительных трудов и тем простодушнее забавлялся расстилавшеюся перед ним картиной, что мысли его были далеко, да и вращались они, эти мысли, в мире, вовсе не похожем на то, что его окружало в этот миг. Он был русский; звали его Григорием Михайловичем Литвиновым. Нам нужно с ним познакомиться, и потому придется рассказать в коротких словах его прошедшее, весьма незатейливое и несложное.

Сын отставного служаки-чиновника из купеческого рода, он воспитывался не в городе, как следовало ожидать, а в деревне. Мать его была дворянка, из институток, очень доброе и очень восторженное существо, не без характера однако. Будучи двадцатью годами моложе своего мужа, она его перевоспитала,

насколько могла, перетащила его из чиновничьей колеи в помещичью, укротила и смягчила его дюжий, терпкий нрав.

По ее милости он стал и одеваться опрятно, и держаться прилично, и браниться бросил; стал уважать ученых и ученость, хотя, конечно, ни одной книги в руки не брал, и всячески старался не уронить себя: даже ходить стал тише и говорил расслабленным голосом, все больше о предметах возвышенных, что ему стоило трудов немалых. "Эх! взял бы да выпорол!" – думал он иногда про себя, а вслух произносил: "Да, да, это... конечно; это вопрос". Дом свой мать Литвинова тоже поставила на европейскую ногу; слугам говорила "вы" и никому не позволяла за обедом наедаться до сопения. Что же касается до имения, ей принадлежавшего, то ни она сама, ни муж ее ничего с ним сделать не сумели: оно было давно запущено, но многоземельно, с разными угодьями, лесами и озером, на котором когда-то стояла большая фабрика, заведенная ревностным, но безалаберным баринном, процветавшая в руках плута-купца и окончательно погибшая под управлением честного антрепренера из немцев.

Госпожа Литвинова уже тем была довольна, что не расстроила своего состояния и не наделала долгов. К несчастью, здоровьем она похвалиться не могла и скончалась от чахотки в самый год поступления ее сына в Московский университет. Он не кончил курса по обстоятельствам (читатель узнает о них впоследствии) и угодил в провинцию, где потолокся несколько времени без дела, без связей, почти без знакомых. По милости не расположенных к нему дворян его уезда, проникнутых не столько западною теорией о вреде "абсентеизма" сколько доморощенным убеждением, что "своя рубашка к телу ближе, он в 1855 году попал в ополчение и чуть не умер от тифа в Крыму, где, не видав не одного "союзника", простоял шесть месяцев в землянке на берегу Гнилого моря; потом послужил по выборам, конечно не без неприятностей, и, пожив в деревне, пристрастился к хозяйству. Он понимал, что имение его матери, плохо и вяло управляемое его одряхлевшим отцом, не давало и десятой доли тех доходов, которые могло бы давать, и что в опытных и знающих руках оно превратилось бы в золотое дно; но он также понимал, что именно опыта и знания ему недоставало, и он отправился за границу учиться агрономии и технологии, учиться с азбуки. Четыре года с лишком провел он в Мекленбурге, в Силезии, в Карлсруэ, ездил в Бельгию, в Англию, трудился добросовестно, приобрел познания: нелегко они ему давались; но он выдержал искуc до конца, и вот теперь, уверенный в самом себе, в своей будущности, в пользе, которую он принесет своим землякам, пожалуй, даже всему краю, он собирается возвратиться на родину, куда с отчаянными заклинаниями и мольбами в каждом письме звал его отец, совершенно сбитый с толку эманципацией, разверстанием

угодий, выкупными сделками новыми порядками, одним словом... Но зачем же он в Бадене?

А затем он в Бадене, что он со дня на день ожидает приезда туда своей троюродной сестры и невесты – Татьяны Петровны Вестовой. Он знал ее чуть не с детства и провел с ней весну и лето в Дрездене, где она поселилась с своей теткой. Он искренно любил, он глубоко уважал свою молодую родственницу и, окончив свою темную, пригготовительную работу, собираясь вступить на новое поприще, начать действительную, не коронную службу, предложил ей, как любимой женщине, как товарищу и другу, соединить свою жизнь с его жизнью – на радость и на горе, на труд и на отдых, "for better for worse", как говорят англичане. Она согласилась, и он отправился в Карлсруэ, где у него оставались книги, вещи, бумаги... Но почему же он в Бадене, спросите вы опять?

А потому он в Бадене, что тетка Татьяны, ее воспитавшая, Капитолина Марковна Шестова, старая девица пятидесяти пяти лет, добродушнейшая и честнейшая чудачка, свободная душа, вся горящая огнем самопожертвования и самоотвержения; esprit fort (она Штрауса читала – правда, тихонько от племянницы) и демократка, заклятая противница большого света и аристократии, не могла устоять против соблазна хотя разочек взглянуть на самый этот большой свет в таком модном месте, каков Баден...

Капитолина Марковна ходила без кринолина и стригла в кружок свои белые волосы, но роскошь и блеск тайно волновали ее, и весело и сладко было ей бранить и презирать их... Как же было не потешить добрую старушку? Но оттого-то Литвинов так спокоен и прост, оттого он так самоуверенно глядит кругом, что жизнь его отчетливо ясно лежит пред ним, что судьба его определилась и что он гордится этою судьбой и радуется ей, как делу рук своих.

III

– Ба! ба! ба! вот он где! – раздался вдруг над самым его ухом пискливый голос, и отекая рука потрепала его по плечу. Он поднял голову – и узрел одного из своих немногочисленных московских знакомых, некоего Бамбаева, человека хорошего, из числа пустейших, уже немолодого, с мягкими, словно разваренными щеками и носом, взъерошенными жирными волосами и дряблым

тучным телом. Вечно без гроша и вечно от чего-нибудь в восторге, Ростислав Бамбаев шлялся с криком, но без цели, по лицу нашей многосносной матушки-земли.

– Вот, что называется, встреча! – повторял он, расширяя заплывшие глаза и выдвигая пухлые губки, над которыми странно и неуместно торчали крашенные усы. Ай да Баден! Все сюда как тараканы лезут. Как ты сюда попал?

Бамбаев "тыкал" решительно всех на свете.

– Я четвертого дня сюда приехал.

– Откуда?

– Да на что тебе знать?

– Как на что! Да постой, постой, тебе, может быть неизвестно, кто еще сюда приехал? Губарев! Сам, своей особой! Вот кто здесь! Вчера из Гейдельберга прикатил. Ты, конечно, с ним знаком?

– Я слышал о нем.

– Только-то? Помилуй! Сейчас, сию минуту мы тебя к нему потащим. Этакого человека не знать! Да вот кстати и Ворошилов... Постой, ты, пожалуй, и с ним незнаком? Честь имею вас друг другу представить. Оба ученые! Этот даже феникс! Поцелуйтесь! И, сказав эти слова, Бамбаев обратился к стоявшему возле него красивому молодому человеку с свежим и розовым, но уже серьезным лицом. Литвинов приподнялся и, разумеется, не поцеловался, а обменялся коротеньким поклоном с "фениксом", которому, судя по строгости осанки, не слишком понравилось это неожиданное представление

– Я сказал: феникс, и не отступаю от своего слова, – продолжал Бамбаев, ступай в Петербург, в – й корпус, и посмотри на золотую доску: чье там имя стоит первым? Ворошилова Семена Яковлевича! Но Губарев, Губарев, братцы мои!! Вот к кому бежать, бежать надо!

Я решительно благоговею перед этим человеком! Да не я один, все сподряд благоговеют. Какое он теперь сочинение пишет, о...о...о!..

- О чем это сочинение? - спросил Литвинов.

- Обо всем, братец ты мой, вроде, знаешь, Бекля... только поглубже, поглубже...Все там будет разрешено и приведено в ясность.

- А ты сам читал это сочинение.

- Нет, не читал, и это даже тайна, которую не следует разглашать; но от Губарева всего можно ожидать всего! Да! - Бамбаев вздохнул и сложил руки. Что, если б еще такие две, три головы завелись у нас на Руси, ну что бы это было, господи боже мой! Скажу тебе одно, Григорий Михайлович: чем бы ты ни занимался в это последнее время, - а я и не знаю, чем ты вообще занимаешься, какие бы ни были твои убеждения, - я их тоже не знаю, - но у него, у Губарева, ты найдешь чему поучиться. К несчастью, он здесь ненадолго. Надо воспользоваться, надо идти. К нему, к нему!

Проходивший франтик с рыжими кудряшками и голубою лентою на низкой шляпе обернулся и с язвительною усмешкой посмотрел сквозь стеклышко на Бамбаева. Литвинову досадно стало.

- Что ты кричишь? - промолвил он, - словно гончую на след накликаешь! Я еще не обедал.

- Что ж такое! Можно сейчас у Вебера... втроем... Отлично! У тебя есть деньги заплатить за меня? - прибавил он вполголоса.

- Есть-то есть; только я, право, не знаю...

- Перестань, пожалуйста; ты меня благодарить будешь, и он рад будет... Ах, боже мой! - перебил самого себя Бамбаев. - Это они финал из "Эрнани" играют. Что за прелесть!.. А som...so Carlo... Экой, однако, я! Сейчас в слезы. Ну, Семен Яковлевич! Ворошилов! Идем, что ли?

Ворошилов, который все еще продолжал стоять неподвижно и стройно, сохраняя прежнее, несколько горделивое достоинство осанки, знаменательно опустил глаза, нахмурился и промычал что-то сквозь зубы... но не отказался; а Литвинов подумал: "Что же! сделаем и это, благо время есть". Бамбаев взял его под руку, но, прежде чем направился в кофейную, кивнул пальцем Изабелле, известной цветочнице Жокей-клуба: ему вздумалось взять у ней букет. Но аристократическая цветочница не пошевелинулась; да и с какой стати было ей подходить к господину без перчаток, в запачканной плисовой куртке, пестром галстуке и стоптанных сапогах, которого она и в Париже-то никогда не видала?

Тогда Ворошилов в свою очередь кивнул ей пальцем. К нему она подошла, и он, выбрав в ее коробке крошечный букет фиалок, бросил ей гюльден. Он думал удивить ее своею щедростью; но она даже бровью не повела и, когда он от нее отвернулся, презрительно скорчила свои стиснутые губы. Одет Ворошилов был очень щегольски, даже изысканно, но опытный глаз парижанки тотчас подметил в его туалете, в его турнюре, в самой его походке, носившей следы разновременной военной выправки, отсутствие настоящего, чистокровного "шику".

Усевшись у Вебера в главной зале и заказав обед, знакомцы наши вступили в разговор. Бамбаев громко и с жаром потолковал о высоком значении Губарева, но скоро умолк и, шумно вздыхая и жуя, хлопал стакан за стаканом. Ворошилов пил и ел мало, словно нехотя, и, расспросив Литвинова о роде его занятий, принялся высказывать собственные мнения... не столько об этих занятиях, сколько вообще о различных "вопросах"...

Он вдруг оживился и так и помчался, как добрый конь, лихо и резко отчеканивая каждый слог, каждую букву, как молодец-кадет на выпускном экзамене, и сильно, но не в лад размахивая руками. С каждым мгновением он становился все речистей, все бойчей, благо никто его не прерывал: он словно читал диссертацию или лекцию. Имена новейших ученых, с прибавлением года рождения или смерти каждого из них, заглавия только что вышедших брошюр, вообще имена, имена, имена – дружно посыпались с его языка, доставляя ему самому высокое наслаждение, отражавшееся в его запыхавших глазах. Ворошилов, видимо, презирал всякое старье, дорожил одними сливками образованности, последнюю, передовую точкой науки; упомянуть, хотя бы некстати, о книге какого-нибудь доктора Зауэрбенгеля о пенсильванских тюрьмах или о вчерашней статье в "Азиатик джернал" о Ведах и Пуранах (он так и сказал: "Джернал", хотя, конечно, не знал по-английски) – было для него

истинною отрадой, благополучием. Литвинов слушал его, слушал и никак не мог понять, какая же, собственно, его специальность? То он вел речь о роли кельтского племени в истории, то его уносило в древний мир, и он рассуждал об эгинских мраморах, напряженно толковал о жившем до Фидиаса ваятеле Онатасе, который, однако, превращался у него в Ионатана и тем на миг наводил на все его рассуждение не то библейский, не то американский колорит; то он вдруг перескакивал в политическую экономию и называл Бастиа дураком и деревяшкой, "не хуже Адама Смита и всех физиократов..." – "Физиократов! – прошептал ему вслед Бамбаев... – Аристократов?.." Между прочим, Ворошилов вызвал выражение изумления на лице того же самого Бамбаева небрежно и вскользь кинутым замечанием о Маколее, как о писателе устарелом и уже опереженном наукой; что же до Гнейста и Рилля, то он объявил, что их стоит только назвать, и пожал плечами. Бамбаев также плечами пожал.

"И все это разом, безо всякого повода, перед чужими, в кофейной, размышлял Литвинов, глядя на белокурые волосы, светлые глаза, белые зубы своего нового знакомого (особенно смущали его эти крупные сахарные зубы да еще эти руки с их неладным размахом), – и не улыбнется ни разу; а со всем тем, должно быть, добрый малый и крайне неопытный..."

Ворошилов угомонился, наконец; голос его, юношески звонкий и хриплый, как у молодого петуха, слегка порвался... Кстати ж, Бамбаев начал декламировать стихи и опять чуть не расплакался, что произвело впечатление скандала за одним соседним столом, около которого поместилось английское семейство, и хихиканье за другим: две лоретки обедали за этим вторым столом с каким-то престарелым младенцем в лиловом парике. Кельнер принес счет; приятели расплатились.

– Ну, – воскликнул Бамбаев, грузно приподнимаясь со стула, – теперь чашку кофе, и марш! Вон она, однако, наша Русь, – прибавил он, остановившись в дверях и чуть не с восторгом указывая своей мягкой, красною рукой на Ворошилова и Литвинова... – Какова?

"Да, Русь", – подумал Литвинов; а Ворошилов, который уже опять успел придать лицу своему сосредоточенное выражение, снисходительно улыбнулся и слегка щелкнул каблуками.

Минут через пять они все трое поднимались вверх по лестнице гостиницы, где остановился Степан Николаевич Губарев... Высокая стройная дама в шляпке с

короткою черною вуалеткой проворно спускалась с той же лестницы и, увидав Литвинова, внезапно обернулась к нему и остановилась, как бы пораженная изумлением. Лицо ее мгновенно вспыхнуло и потом так же быстро побледнело под частой сеткой кружева; но Литвинов ее не заметил, и дама проворнее прежнего побежала вниз по широким ступеням.

IV

– Григорий Литвинов, рубашка-парень, русская душа, рекомендую, – воскликнул Бамбаев, подводя Литвинова к человеку небольшого роста и помещичьего склада, с расстегнутым воротом, в куцей куртке, серых утренних панталонах и в туфлях, стоявшему посреди светлой, отлично убранной комнаты, – а это, – прибавил он, обращаясь к Литвинову, – это он, тот самый, понимаешь? Ну, Губарев, одним словом.

Литвинов с любопытством уставился на "того самого". На первый раз он не нашел в нем ничего необыкновенного. Он видел перед собою господина наружности почтенной и немного туповатой, лобастого, глазастого, губастого, бородастого, с широкою шеей, с косвенным, вниз устремленным взглядом. Этот господин осклабился, промолвил: "Ммм... да... это хорошо... мне приятно..." – поднес руку к собственному лицу и, тотчас же, повернувшись к Литвинову спиной, ступил несколько раз по ковру, медленно и странно переваливаясь, как бы крадучись.

У Губарева была привычка постоянно расхаживать взад и вперед, то и дело подергивая и почесывая бороду концами длинных и твердых ногтей. Кроме Губарева, в комнате находилась еще одна дама в шелковом поношенном платье, лет пятидесяти, с чрезвычайно подвижным, как лимон желтым лицом, черными волосиками на верхней губе и быстрыми, словно выскочить готовыми глазами, да еще какой-то плотный человек сидел, сгорбившись, в уголку.

– Ну-с, почтенная Матрена Семеновна, – начал Губарев, обращаясь к даме и, видно, не считая нужным знакомить ее с Литвиновым, – что бишь вы начали нам рассказывать?

Дама (ее звали Матреной Семеновной Суханчиковой, она была вдова, бездетная, небогатая, и второй уже год странствовала из края в край) заговорила тотчас с особенным, ожесточенным увлечением:

– Ну, вот он и является к князю, и говорит ему: Ваше сиятельство, говорит, вы в таком сане и в таком звании, говорит, что вам стоит облегчить мою участь? Вы, говорит, не можете не уважать чистоту моих убеждений! И разве можно, говорит, в наше время преследовать за убеждения? И что ж, вы думаете, сделал князь, этот образованный, высокопоставленный сановник?

– Ну, что он сделал? – промолвил Губарев, задумчиво закуривая папироску. Дама выпрямилась и протянула вперед свою костлявую правую руку с отделенным указательным пальцем.

– Он призвал своего лакея и сказал ему: "Сними ты сейчас с этого человека сюртук и возьми себе. Я тебе дарю этот сюртук!"

– И лакей снял? – спросил Бамбаев, всплеснув руками.

– Снял и взял. И это сделал князь Барнаулов, известный богач, вельможа, облеченный особенною властью, представитель правительства! Что ж после этого еще ожидать?

Все тщедушное тело г-жи Суханчиковой тряслось от негодования, по лицу пробегали судороги, чахлая грудь порывисто колыхалась под плоским корсетом; о глазах уже и говорить нечего: они так и прыгали. Впрочем, они всегда прыгали, о чем бы она ни говорила.

– Вопиющее, вопиющее дело! – воскликнул Бамбаев. – Казни нет достойной!

– Ммм... Эмм... Сверху донизу все гнило, – заметил Губарев, не возвышая, впрочем, голоса. – Тут не казнь... тут нужна... другая мера.

– Да полно, правда ли это? – промолвил Литвинов.

– Правда ли? – подхватила Суханчикова. – Да в этом и думать нельзя сомневаться, д-у-у-у-мать нельзя... – Она с такою силою произнесла это слово,

что даже скорчилась. – Мне это сказывал один вернейший человек. Да вы его, Степан Николаевич, знаете – Елистратов Капитон. Он сам это слышал от очевидцев, от свидетелей этой безобразной сцены.

– Какой Елистратов? – спросил Губарев. – Тот, что был в Казани?

– Тот самый. Я знаю, Степан Николаич, про него распустили слух, будто он там с каких-то подрядчиков или винокуров деньги брал. Да ведь кто это говорит? Пеликанов! А возможно ли Пеликанову верить, когда всем известно, что он просто – шпион!

– Нет, позвольте, Матрена Семеновна, – вступился Бамбаев, – я с Пеликановым приятель; какой же он шпион?

– Да, да, именно шпион!

– Да постойте, помилуйте...

– Шпион, шпион! – кричала Суханчикова.

– Да нет же, нет, постойте; я вам что скажу, – кричал в свою очередь Бамбаев.

– Шпион, шпион! – твердила Суханчикова.

– Нет, нет! Вот Тентелеев, это другое дело! – заревел Бамбаев уже во все горло.

Суханчикова мгновенно умолкла.

– Про этого барина я достоверно знаю, – продолжал он обыкновенным своим голосом, – что когда Третье отделение его вызывало, он у графини Блазенкрампф в ногах ползал и все пищал: "Спасите, заступитесь!" А Пеликанов никогда до такой подлости не унижался.

– Мм... Тентелеев... – проворчал Губарев, – это... это заметить надо.

Суханчикова презрительно пожала плечом.

- Оба хороши, - заговорила она, - но только я про Тентелеева еще лучше анекдот знаю. Он, как всем известно, - был ужаснейший тиран со своими людьми, хотя тоже выдавал себя за эманципатора. Вот он раз в Париже сидит у знакомых, и вдруг входит мадам Бичер-Стоу, - ну, вы знаете, "Хижина дяди Тома". Тентелеев, человек ужасно чванливый, стал просить хозяина представить его; но та, как только услышала его фамилию: "Как? - говорит, - смей знакомиться с автором Дяди Тома? - Да хлоп его по щеке! - Вон! - говорит, - сейчас!" И что ж вы думаете? Тентелеев взял шляпу, да, поджавши хвост, и улизнул.

- Ну, это, мне кажется, преувеличено, - заметил Бамбаев. - "Вон!" она ему, точно, сказала, это факт; но пощечины она ему не дала.

- Дала пощечину, дала пощечину! - с судорожным напряжением повторила Суханчикова, - я не стану пустяков говорить. И с такими людьми вы приятель!

- Позвольте, позвольте, Матрена Семеновна, я никогда не выдавал Тентелеева за близкого мне человека; я про Пеликанова говорил.

- Ну, не Тентелеев, так другой: Михнев, например.

- Что же этот такое сделал? - спросил Бамбаев, уже заранее оробев.

- Что? Будто вы не знаете? На Вознесенском проспекте всенародно кричал, что надо, мол, всех либералов в тюрьму; а то еще к нему приходит старый пансионский товарищ, бедный, разумеется, и говорит: "Можно у тебя пообедать?" А тот ему в ответ: "Нет, нельзя; у меня два графа сегодня обедают... п' шол прочь!"

- Да это клевета, помилуйте! - возопил Бамбаев.

- Клевета?.. клевета? Во-первых, князь Вахрушкин, который тоже обедал у вашего Михнева...

- Князь Вахрушкин, - строго вмешался Губарев, - мне двоюродный брат; но я его к себе не пускаю... Ну, и упоминать о нем, стало быть, нечего.

- Во-вторых, - продолжала Суханчикова, покорно наклонив голову в сторону Губарева, - мне сама Прасковья Яковлевна сказала.

- Нашли на кого сослаться! Она да вот еще Саркизов - это первые выдумщики.

- Ну-с, извините; Саркизов лгун, точно; он же с мертвого отца парчовой покров стащил, об этом я спорить никогда не стану; но Прасковья Яковлевна, какое сравнение! вспомните, как она благородно с мужем разошлась! Но вы, я знаю, вы всегда готовы...

- Ну полноте, полноте, Матрена Семеновна, - перебил ее Бамбаев. - Бросимте эти дразги и воспаримте-ка в горния. Я ведь старого закала кочерга. Читали вы "Mademoiselle de la Quintinie?" Вот прелесть-то! И с принципами вашими в самый раз!

Я романов больше не читаю, - сухо и резко отвечала Суханчикова.

- Отчего?

- Оттого что теперь не то время; у меня теперь одно в голове: швейные машины.

- Какие машины? - спросил Литвинов.

- Швейные, швейные; надо всем, всем женщинам запастись швейными машинами и составлять общества; этак они все будут хлеб себе зарабатывать и вдруг независимы станут. Иначе они никак освободиться не могут. Это важный, важный социальный вопрос. У нас такой об этом был спор с Болеславом Стадницким. Болеслав Стадницкий чудная натура, но смотрит на эти вещи ужасно легкомысленно. Все смеется... Дурак!

- Все будут в свое время потребованы к отчету, со всех взыщется, медленно, не то наставническим, не те пророческим тоном произнес Губарев.

- Да, да, - повторил Бамбаев, - взыщется, именно, взыщется. А что, Степан Николаич, - прибавил он, понизив голос, - сочинение подвигается?

– Материалы собираю, – отвечал, насупившись, Губарев и, обратившись к Литвинову, у которого голова начинала ходить кругом от этой яичницы незнакомых ему имен, от этого бешенства сплетни, спросил его: чем он занимается?

Литвинов удовлетворил его любопытству.

– А! Значит, естественными науками. Это полезно как школа; как школа, не как цель. Цель теперь должна быть... мм... должна быть... другая. Вы, позвольте узнать, каких придерживаетесь мнений?

– Каких мнений?

– Да, то есть, собственно, какие ваши политические убеждения?

Литвинов улыбнулся.

– Собственно, у меня нет никаких политических убеждений.

Плотный человек, сидевший в углу, при этих словах внезапно поднял голову и внимательно посмотрел на Литвинова.

– Что так? – промолвил со странною кротостью Губарев – Не вдумались еще или уже устали?

– Как вам сказать? Мне кажется, нам, русским, еще рано иметь политические убеждения или воображать, что мы их имеем. Заметьте, что я придаю слову "политический" то значение, которое принадлежит ему по праву, и что.

– Ага! из незрелых, – с тою же кротостью перебил его Губарев и, подойдя к Ворошилову, спросил его: прочел ли он брошюру, которую он ему дал?

Ворошилов, который, к удивлению Литвинова, с самого своего прихода словечка не проронил, а только хмурился и значительно поводил глазами (он вообще либо ораторствовал, либо молчал), – Ворошилов выпятил по-военному грудь и, щелкнув каблуками, кивнул утвердительно головой. – Ну, и что ж? Остались довольны?

– Что касается до главных оснований, доволен; но с выводами не согласен.

– Ммм... Андрей Иванович мне, однако, хвалил эту брошюру. Вы мне потом изложите ваши сомнения.

– Прикажете письменно?

Губарев, видимо, удивился: он этого не ожидал; однако, подумав немного, промолвил:

– Да, письменно. Кстати, я вас попрошу изложить мне также свои соображения...насчет...насчет ассоциаций.

– По методе Лассаля прикажете или Шульце-Делича?

– Ммм... по обеим. Тут, понимаете, для нас, русских, особенно важна финансовая сторона. Ну, и артель... как зерно. Все это нужно принять к сведению. Вникнуть надо. Вот и вопрос о крестьянском наделе...

– А вы, Степан Николаич, какого мнения насчет количества следуемых десятин? – с почтительною деликатностью в голосе спросил Ворошилов.

– Эмм... А община? – глубокомысленно произнес Губарев и, прикусив клочок бороды, уставился на ножку стола. – Община... Понимаете ли вы? Это великое слово! Потом, что значат эти пожары... эти... эти правительственные меры против воскресных школ, читален, журналов? А несогласие крестьян подписывать уставные грамоты? И, наконец, то, что происходит в Польше? Разве вы не видите, к чему это все ведет? Разве вы не видите, что... мы... что нам.... нам нужно теперь слиться с народом, узнать... узнать его мнение? – Губаревым внезапно овладело какое-то тяжелое, почти злобное волнение; он даже побурел в лице и усиленно дышал, но все не поднимал глаз и продолжал жевать бороду. – Разве вы не видите...

– Евсеев подлец! – брякнула вдруг Гуханчикова, которой Бамбаев, из уважения к хозяину, рассказывал что-то вполголоса. Губарев круто повернул на каблуках и опять заковылял по комнате.

Стали появляться новые посетители; под конец вечера набралось довольно много народу. В числе их пришел и господин Евсеев, так жестоко обозванный Суханчиковой, – она очень дружелюбно с ним разговаривала и попросила его провести ее домой; пришел некто Пищалкин, идеальный мировой посредник, человек из числа тех людей, в которых, может быть, точно нуждается Россия, а именно ограниченный, мало знающий и бездарный, но добросовестный, терпеливый и честный; крестьяне его участка чуть не молились на него, и он сам весьма почтительно обходился с самим собою, как с существом, истинно достойным уважения. Пришло несколько офицерчиков, выскочивших на коротенький отпуск в Европу и обрадовавшихся случаю, конечно, осторожно и не выпуская из головы задней мысли о полковом командире, побаловаться с умными и немножко даже опасными людьми; прибежали двое жиденьких студентиков из Гейдельберга – один все презрительно оглядывался, другой хохотал судорожно... обоим было очень неловко; вслед за ними втерся французик, так называемый п' ти женом грязненький, бедненький, глупенький... он славился между своими товарищами, коммивояжерами, тем, что в него влюблялись русские графини, сам же он больше помышлял о даровом ужине; явился, наконец, Тит Биндасов, с виду шумный бурш, а в сущности, кулак и выжига, по речам террорист, по призванию квартальный, друг российских купчих и парижских лореток, лысый, беззубый, пьяный; явился он весьма красный и дрянной, уверяя, что спустил последнюю копейку этому "шельмецу Беназету", а на деле он выиграл шестнадцать гульденов...

Словом, много набралось народу. Замечательно, поистине замечательно было то уважение, с которым все посетители обращались к Губареву как наставнику или главе; они излагали ему свои сомнения, повергали их на его суд; а он отвечал... мычанием, подергиванием бороды, вращением глаз или отрывочными, незначительными словами, которые тотчас же подхватывались на лету, как изречения самой высокой мудрости. Сам Губарев редко вмешивался в прения; зато другие усердно надсаживали грудь. Случалось не раз, что трое, четверо кричали вместе в течение десяти минут, и все были довольны и понимали.

Беседа продолжалась за полночь и отличалась, как водится, обилием и разнообразием предметов. Суханчикова говорила о Гарибальди, о каком-то Карле Ивановиче, которого высекли его собственные дворовые, о Наполеоне III, о женском труде, о купце Плескачеве, заведомо уморившем двенадцать работниц и получившем за это медаль с надписью "за полезное", о пролетариате, о грузинском князе Чукчеулидзе, застрелившем жену из пушки, и о будущем России; Пищалкин говорил тоже о будущем России, об откупе, о значении национальностей и о том, что он больше всего ненавидит прошлое; Ворошилова

вдруг прорвало: единым духом, чуть не захлебываясь, он назвал Дрепера, Фирхова, г-на Шелгунова, Биша, Гельмгольца, Стара, Стура, Реймонта, Иоганна Миллера – физиолога, Иоганна Миллера – историка, очевидно смешивая их, Тэна, Ренана, г-на Щапова, а потом Томаса Наша, Пиля, Грина...

"Это что же за птицы?" – с изумлением пробормотал Бамбаев. "Предшественники Шекспира, относящиеся к нему, как отроги Альп к Монблану!" хлестко отвечал Ворошилов и также коснулся будущности России. Бамбаев тоже поговорил о будущности России и даже расписал ее в радужных красках, но в особенный восторг привела его мысль о русской музыке, в которой он видел что-то "ух! большое" и в доказательство затянул романс Варламова, но скоро был прерван общим криком, что: "он, мол, поет Miserere из "Траватора" и прескверно поет". Один офицерчик под шумок ругнул русскую литературу, другой привел стихи из "Искры", а Тит Биндасов поступил еще проще: объявил, что всем бы этим мошенникам зубы надо повышибать – и баста! не определяя, впрочем, кто, собственно, были эти мошенники. Дым от сигар стоял удушливый; всем было жарко и темно, все охрипли, у всех глаза посоловели, пот лил градом с каждого лица. Бутылки холодного пива появлялись и опоражнивались мгновенно. "Что бишь я такое говорил?" – твердил один; "Да с кем же я сейчас спорил и о чем?" спрашивал другой. И среди всего этого гама и чада, по-прежнему переваливаясь и шевеля в бороде, без устали расхаживал Губарев и то прислушивался, принося ухом, к чьему-нибудь рассуждению, то вставлял свое слово, и всякий невольно чувствовал, что он-то, Губарев, всему matka и есть, что он здесь и хозяин, и первенствующее лицо...

У Литвинова часам к десяти сильно разболелась голова, и он ушел потихоньку и незаметно, воспользовавшись усиленным взрывом всеобщего крика: Суханчикова вспомнила новую несправедливость князя Барнаулова – чуть ли не приказал он кому-то ухо откусить.

Свежий ночной воздух ласково прильнул к воспаленному лицу Литвинова, влился пахучею струей в его засохшие губы. "Что это, – думал он, идя по темной аллее, – при чем это я присутствовал? Зачем они собрались? Зачем кричали, бранились, из кожи лезли? К чему все это?" Литвинов пожал плечами и отправился к Веберу, взял газету и спросил себе мороженого. В газете толковалось о римском вопросе, а мороженое оказалось скверным. Он уже собирался идти домой, как вдруг к нему подошел незнакомый человек в шляпе с широкими полями и, проговорив по-русски: "Я вас не беспокою?" – присел за его столик. Тут только Литвинов, взглядевшись попристальнее в незнакомца, узнал в

нем того плотного господина, который забился в уголок у Губарева и с таким вниманием окинул его глазами, когда речь зашла о политических убеждениях. В течение всего вечера господин этот не разевал рта, а теперь, подсев к Литвинову и сняв шляпу, глядел на него дружелюбным и несколько смущенным взглядом.

V

– Господин Губарев, у которого я имел удовольствие вас видеть сегодня, начал он, – меня вам не отрекомендовал; так уж, если вы позволите, я сам себя рекомендую: Потугин, отставной надворный советник, служил в министерстве финансов, в Санкт-Петербурге. Надеюсь, что вы не найдете странным...я вообще не имею привычки так внезапно знакомиться... но с вами...

Тут Потугин замялся и попросил кельнера принести ему рюмочку киршвассера. "Для храбрости", – прибавил он с улыбкой.

Литвинов с удвоенным вниманием посмотрел на это последнее из всех тех новых лиц, с которыми ему в тот день пришлось столкнуться, и тотчас же подумал: "Этот не то, что те".

Действительно, не то. Пред ним сидел, перебирая по краю стола тонкими ручками, человек широкоплечий, с просторным туловищем на коротких ногах, с понурою курчавою головой, с очень умными и очень печальными глазками под густыми бровями, с крупным правильным ртом, нехорошими зубами и тем чисто русским носом, которому присвоено название картофеля; человек с виду неловкий и даже диковатый, но уже, наверное, недюжинный. Одет он был небрежно: старомодный сюртук сидел на нем мешком, и галстук сбился на сторону. Его внезапная доверчивость не только не показалась Литвинову назойливостью, но, напротив, втайне ему польстила: нельзя было не видеть, что за этим человеком не водилось привычки навязываться незнакомым. Странное впечатление произвел он на Литвинова: он возбуждал в нем и уважение, и сочувствие, и какое-то невольное сожаление.

– Так я не беспокою вас? – повторил он мягким, немного сиплым и слабым голосом, который как нельзя лучше шел ко всей его фигуре.

– Помилуйте, – возразил Литвинов, – я, напротив, очень рад.

– В самом деле? Ну, так и я рад. Я слышал об вас много; я знаю, чем вы занимаетесь и какие ваши намерения. Дело хорошее. То-то вы и молчали сегодня.

– Да и вы, кажется, говорили мало, – заметил Литвинов.

Потугин вздохнул.

– Другие уж больно много рассуждали-с. Я слушал. Ну что, – прибавил он, помолчав немного и как-то забавно уставив брови, – понравилось вам наше Вавилонское столпотворение?

– Именно столпотворение. Вы прекрасно сказали. Мне все хотелось спросить у этих господ, из чего они так хлопчут?

Потугин опять вздохнул.

В том-то и штука что они и сами этого не ведают – с. В прежние времена про них бы так выразились: "Они, мол, слепые орудия высших целей; ну, а теперь мы употребляем более резкие эпитеты. И заметьте, что, собственно, я нисколько не намерен обвинять их; скажу более, они все... то есть почти все, прекрасные люди. Про госпожу Суханчикову я, например, наверно знаю очень много хорошего: она последние свои деньги отдала двум бедным племянницам. Положим, тут действовало желание пощеголять, порисоваться, но согласитесь, замечательное самоотвержение в женщине, которая сама небогата! Про господина Пищалкина и говорить нечего; ему непременно, со временем, крестьяне его участка поднесут серебряный кубок в виде арбуза, а может быть, и икону с изображением его ангела, и хотя он им скажет в своей благодарственной речи, что он не заслуживает подобной чести, но это он неправду скажет: он ее заслуживает.

У господина Бамбаева, вашего приятеля, сердце чудное; правда, у него, как у поэта Языкова, который, говорят, воспевал разгул, сидя за книгой и кушая воду, – восторг, собственно, ни на что не обращенный, но все же восторг; и господин Ворошилов тоже добрейший; он, как все люди его школы, люди

золотой доски, точно на ординарцы прислан к науке, к цивилизации, и даже молчит фразисто, но он еще так молод! Да, да, все это люди отличные, а в результате ничего не выходит; припасы первый сорт, а блюдо хоть в рот не бери.

Литвинов с возрастающим удивлением слушал Потугина: все приемы, все обороты его неторопливой, но самоуверенной речи изобличали и умение и охоту говорить. Потугин, точно, и любил и умел говорить; но как человек, из которого жизнь уже успела повытравить самолюбие, он с философическим спокойствием ждал случая, встречи по сердцу.

– Да, да, – начал он снова, с особым, ему свойственным, не болезненным, но унылым юмором, – это все очень, странно-с. И вот еще что прошу заметить. Сойдется, например, десять англичан, они тотчас заговорят о подводном телеграфе, о налоге на бумагу, о способе выделывать, крысьи шкуры, то есть о чем-нибудь положительном, определенном; сойдется десять немцев, ну, тут, разумеется, Шлезвиг-Гольштейн и единство Германии явятся на сцену; десять французов сойдется, беседа неизбежно коснется "клубнички", как они там ни виляй; а сойдется десять русских, мгновенно возникает вопрос, – вы имели случай сегодня в том убедиться, – вопрос о значении, о будущности России, да в таких общих чертах, от яиц Леды, бездоказательно, безвыходно. Жуют, жуют они этот несчастный вопрос, словно дети кусок гуммиластика: ни соку, ни толку. Ну, и конечно, тут же, кстати, достанется и гнилому Западу. Экая притча, подумаешь! Бьет он нас на всех пунктах, этот Запад, – а гнил! И хоть бы мы действительно его презирали, – продолжал Потугин, – а то ведь это все фраза и ложь. Ругать-то мы его ругаем, а только его мнением и дорожим, то есть, в сущности, мнением парижских лоботрясов. У меня есть знакомый, и хороший, кажется, человек, отец семейства, уже немолодой; так тот несколько дней в унынии находился оттого, что в парижском ресторане спросил себе *une portion de biftek aux pommes de terre*, а настоящий француз тут же крикнул: "*Garçon! biftek pommes!*" Сгорел мой приятель от стыда! И потом везде кричал: "*Biftek pommes!*" – и других учил. Самые даже лоретки удивляются благоговейному трепету, с которым наши молодые степняки входят в их позорную гостиную... боже мой! думают они, ведь это где я? У самой *Annaһ deslions!!*

– Скажите, пожалуйста, – спросил Литвинов, – чему вы приписываете несомненное влияние Губарева на всех его окружающих? Не дарованиям, не способностям же его?

– Нет-с, нет-с; у него этого ничего не имеется...

– Так характеру, что ли?

– И этого нет-с, а у него много воли-с. Мы, славяне, вообще, как известно, этим добром не богаты и перед ним пасуем. Господин Губарев захотел быть начальником, и все его начальником признали. Что прикажете делать?! Правительство освободило нас от крепостной зависимости, спасибо ему; но привычки рабства слишком глубоко в нас внедрились; не скоро мы от них отделаемся. Нам во всем и всюду нужен барин; барином этим бывает большею частью живой субъект, иногда какое-нибудь так называемое направление над нами власть возымеет... теперь, например, мы все к естественным наукам в кабалу записались... Почему, в силу каких резонов мы записываемся в кабалу, это дело темное; такая уж, видно, наша натура. Но главное дело, чтоб был у нас барин. Ну, вот он и есть у нас; это, значит, наш, а на все остальное мы наплевать! Чисто холопы! И гордость холопская, и холопское уничижение. Новый барин родился – старого долой!

То был Яков, а теперь Сидор; в ухо Якова, в ноги Сидору! Вспомните, какие в этом роде происходили у нас проделки! Мы толкуем об отрицании как об отличительном нашем свойстве; но и отрицаем-то мы не так, как свободный человек, разящий шпагой, а как лакей, лупящий кулаком, да еще, пожалуй, и лупит-то он по господскому приказу. Ну-с, а народ мы тоже мягкий; в руки нас взять не мудрено. Вот таким-то образом и господин Губарев попал в барья; долбил-долбил в одну точку и продолбился. Видят люди: большого мнения о себе человек, верит в себя, приказывает – главное, приказывает; стало быть, он прав и слушаться его надо. Все наши расколы, наши Онуфриевщины да Акулиновщины именно так и основались. Кто палку взял, тот и капрал.

У Потугина покраснели щеки и глаза потускнели; но – странное дело! – речь его, горькая и даже злая, не отзывалась желчью, а скорее печалью, и правдивою, искреннею печалью.

– Вы как с Губаревым познакомились? – спросил Литвинов – Я его давно знаю-с. И заметьте, какая у нас опять странность: иной, например, сочинитель, что ли, весь свой век и стихами и прозой бранил пьянство, откуп укорял... да вдруг сам взял да два винные завода купил и снял сотню кабаков – и ничего! Другого бы с лица земли стерли, а его даже не упрекают. Вот и господин Губарев: он и славянофил, и демократ, и социалист, и все что угодно, а именем его управлял

и теперь еще управляет брат, хозяин в старом вкусе, из тех, что дантистами величали. И та же госпожа Суханчикова, которая заставляет госпожу Бичер-Стоу бить по щепам Тентелеева, перед Губаревым чуть не ползает. А ведь только за ним и есть, что он умные книжки читает да все в глубину устремляется. Какой у него дар слова, вы сегодня сами судить могли; и это еще слава богу, что он мало говорит, все только ежится. Потому что когда он в духе да нараспашку, так даже мне, терпеливому человеку, невмочь становится. Начнет подтрунивать да грязные анекдоты рассказывать, да, да, наш великий господин Губарев рассказывает грязные анекдоты и так мерзко смеется при этом...

– Будто вы так терпеливы? – промолвил Литвинов. – Я, напротив, полагал... Но позвольте узнать, как ваше имя и отчество?

Потугин отхлебнул немного киршвассеру.

– Меня зовут Созонтом... Созонтом Иванычем. Дали мне это прекрасное имя в честь родственника, архимандрита, которому я только этим и обязан. Я, если смею так выразиться, священнического поколения. А что вы насчет терпенья сомневаетесь, так это напрасно: я терпелив. Я двадцать два года под начальством родного дядюшки, действительного статского советника Иринарха Потугина, прослужил. Вы его не изволили знать?

– Нет.

– С чем вас поздравляю. Нет, я терпелив. Но "возвратимся на первое", как говорит почтенный мой собрат, сожженный протопоп Аввакум. Удивляюсь я, милостивый государь, своим соотечественникам. Все унывают, все повесивши нос ходят, и в то же время все исполнены надеждой и чуть что, так на стену и лезут. Вот хоть бы славянофилы, к которым господин Губарев себя причисляет: прекраснейшие люди, а та же смесь отчаяния и задора, тоже живут буквой "буки". Все, мол, будет, будет. В наличности ничего нет, и Русь в целые десять веков ничего своего не выработала, ни в управлении, ни в суде, ни в науке, ни в искусстве, ни даже в ремесле... Но постойте, потерпите: все будет.

А почему будет, позвольте полюбопытствовать? А потому, что мы, мол, образованные люди, – дрянь; но народ... о, это великий народ! Видите этот армяк? вот откуда все пойдет. Все другие идолы разрушены; будемте же верить в армяк. Ну, а коли армяк выдаст? Нет, он не выдаст, прочтите Кохановскую, и

очи в потолки! Право, если б я был живописцем, вот бы я какую картину написал: образованный человек стоит перед мужиком и кланяется ему низко: вылечи, мол, меня, батюшка-мужичок, я пропадаю от болести; а мужик в свою очередь низко кланяется образованному человеку: научи, мол, меня, батюшка – барин, я пропадаю от темноты. Ну, и, разумеется, оба ни с места. А стоило бы только действительно смириться – не на одних словах – да поприсязнять у старших братьев, что они придумали и лучше насб и прежде нас! Кельнер, нох эйн глэзхен кирш! Вы не думайте, что я пьяница, но алкоголь развязывает мне язык.

– После того, что вы сейчас сказали, – промолвил с улыбкой Литвинов, – мне нечего и спрашивать, к какой вы принадлежите партии и какого мнения вы о Европе. Но позвольте мне сделать вам одно замечание. Вот вы говорите, что нам следует занимать, перенимать у наших старших братьев; но как же возможно перенимать, не соображаясь с условиями климата, почвы, с местными, с народными особенностями? Отец мой, помнится, выписал от Бутенопов чугунную, отлично зарекомендованную веялку; веялка эта, точно, была очень хороша – и что же? Она целых пять лет простояла в сарае безо всякой пользы, пока ее не заменила деревянная американская – гораздо более подходящая к нашему быту и к нашим привычкам, как вообще все американские машины. Нельзя, Созонт Иванович, перенимать зря.

Потугин приподнял голову.

– Не ожидал я от вас такого возражения, почтеннейший Григорий Михайлович, начал он погодя немного. – Кто же вас заставляет перенимать зря? Ведь вы чужое берете не потому, что оно чужое, а потому, что оно вам пригодно: стало быть, вы соображаете, вы выбираете. А что до результатов – так вы не извольте беспокоиться: своеобразность в них будет в силу самых этих местных, климатических и прочих условий, о которых вы упоминаете. Вы только предлагайте пищу добрую, а народный желудок ее переварит по-своему; и со временем, когда организм окрепнет, он даст свой сок. Возьмите пример хоть с нашего языка. Петр Великий наводнил его тысячами чужеземных слов, голландских, французских, немецких: слова эти выражали понятия, с которыми нужно было познакомить русский народ; не мудрствуя и не церемонясь... Петр вливал эти слова целиком, ушатами, бочками в нашу утробу. Сперва – точно, вышло нечто чудовищное, а потом – началось именно то перевариванье, о котором я вам докладывал. Понятия привились и усвоились; чужие формы постепенно испарились, язык в собственных недрах нашел чем их заменить – и

теперь ваш покорный слуга, стилист весьма посредственный, берется перевести любую страницу из Гегеля... да-с, да-с, из Гегеля... не употребив ни одного неславянского слова. Что произошло с языком, то, должно надеяться, произойдет и в других сферах. Весь вопрос в том – крепка ли натура? а наша натура – ничего, выдержит:-не в таких была передрягах.

Бояться за свое здоровье, за свою самостоятельность могут одни нервные больные да слабые народы; точно так же как восторгаться до пены у рта тому, что мы, мол, русские, – способны одни праздные люди. Я очень забочусь о своем здоровье, но в восторг от него не прихожу: совестно-с.

– Все так, Созонт Иваныч, – заговорил в свою очередь Литвинов, – но зачем же непременно подвергать нас подобным испытаниям? Сами ж вы говорите, что сначала вышло нечто чудовищное! Ну – а коли это чудовищное так бы и осталось? Да оно и осталось, вы сами знаете.

– Только не в языке – а уж это много значит! А наш народ не я делал; не я виноват, что ему суждено проходить через такую школу. "Немцы правильно развивались, кричат славянофилы, – подавайте и нам правильное развитие!" Да где ж его взять, когда самый первый исторический поступок нашего племени призвание себе князей из-за моря – есть уже неправильность, ненормальность, которая повторяется на каждом из нас до сих пор; каждый из нас, хоть раз в жизни, непременно чему-нибудь чужому, не русскому сказал: "Иди владети и княжители надо мною!" Я, пожалуй, готов согласиться, что, вкладывая иностранную суть в собственное тело, мы никак не можем наверное знать наперед, что такое мы вкладываем: кусок хлеба или кусок яда? Да ведь известное дело: от худого к хорошему никогда не идешь через лучшее, а всегда через худшее, – и яд в медицине бывает полезен. Одним только тупицам или пройдохам прилично указывать с торжеством на бедность крестьян после освобождения, на усиленное их пьянство после уничтожения откупов... Через худшее к хорошему!

Потугин провел рукой по лицу.

– Вы спрашивали меня, какого я мнения о Европе, – начал он опять, – я удивляюсь ей и предан ее началам до чрезвычайности и нисколько не считаю нужным это скрывать. Я давно... нет, недавно... с некоторых пор, перестал бояться высказывать свои убеждения... Ведь вот и вы не усомнились заявить господину Губареву свой образ мыслей. Я, слава богу, перестал соображаться с

понятиями, воззрениями, привычками человека, с которым беседую. В сущности, я ничего не знаю хуже той ненужной трусости, той подленькой угодливости, в силу которой, посмотришь, иной важный сановник у нас подделывается к ничтожному в его глазах студенту, чуть не заигрывает с ним, зайцем к нему забегает. Ну, положим, сановник так поступает из желания популярности, а нашему брату, разночинцу, из чего вилять? Да-с, да-с, я западник, я предан Европе; то есть, говоря точнее, я предан образованности, той самой образованности, над которой так мило у нас теперь потешаются, – цивилизации, – да, да, это слово еще лучше, и люблю ее всем сердцем, и верю в нее, и другой веры у меня нет и не будет. Это слово: ци...ви...ли...зация (Потугин отчетливо, с ударением произнес каждый слог) – и понятно, и чисто, и свято, а другие все, народность там, что ли, слава, кровью пахнут... бог с ними!

– Ну, а Россию, Созонт Иваныч, свою родину, вы любите?

Потугин провел рукой по лицу.

– Я ее страстно люблю и страстно ее ненавижу.

Литвинов пожал плечами.

– Это старо, Созонт Иваныч, это общее место.

– Так что же такое? Что за беда? Вот чего испугались! Общее место! Я знаю много хороших общих мест. Да вот, например: свобода и порядок – известное общее место.

Что ж, по-вашему, лучше, как у нас: чиновачалие и безурядица? И притом, разве все эти фразы, от которых так много пьянеет молодых голов: презренная буржуазия, *souverainite du peuple*, право на работу, – разве они тоже не общие места? А что до любви, неразлучной с ненавистью.

– Байроновщина, – перебил Литвинов, – романтизм тридцатых годов.

– Вы ошибаетесь, извините-с; первый указал на подобное смешение чувств Катулл, римский поэт Катулл две тысячи лет тому назад. Я это у него вычитал, потому что несколько знаю по-латыни, вследствие моего, если смею так

выразиться, духовного происхождения. Да-с; я и люблю и ненавижу свою Россию, свою странную, милую, скверную, дорогую родину. Я теперь вот ее покинул: нужно было проветриться немного после двадцатилетнего сидения за казенным столом, в казенном здании; я покинул Россию, и здесь мне очень приятно и весело; но я скоро назад поеду, я это чувствую. Хороша садовая земля... да не расти на ней морошке!

– Вам весело, вам приятно, и мне здесь хорошо, – сказал Литвинов, – и я сюда учиться приехал; но это не мешает мне видеть хоть бы вот подобные штучки... Он указал на двух проходивших лореток, около которых кривлялось и картавило несколько членов Жокей-клуба, и на игорную залу, набитую битком, несмотря на позднее время дня.

– Да кто же вам сказал, что и я слеп на это? – подхватил Потугин. – Только, извините меня, ваше замечание напоминает мне торжествующие указания наших несчастных журналистов во время Крымской кампании на недостатки английского военного управления, разоблаченные "Тэймсом". Я сам не оптимист, и все человеческое, вся наша жизнь, вся эта комедия с трагическим концом не представляется мне в розовом свете; но зачем навязывать именно Западу то, что, быть может, коренится в самой нашей человеческой сути? Этот игорный дом безобразен, точно; ну, а доморощенное наше шулерство небось красивее? Нет, любезнейший Григорий Михайлович, будемте посмирнее да потише: хороший ученик видит ошибки своего учителя, но молчит о них почтительно; ибо самые эти ошибки служат ему в пользу и наставляют его на прямой путь.

А если вам непременно хочется почесать зубки насчет гнилого Запада, то вот бежит рысцой князь Коко; он, вероятно, спустил в четверть часа за зеленым столом трудовой, вымученный оброк полутора ста семейств, нервы его раздражены, притом я видел, он сегодня у Маркса перелистывал брошюру Вельйо... Отличный вам будет соеседник!

– Да позвольте, позвольте, – поспешно проговорил Литвинов, видя, что Потугин приподнимается с места. – Я князя Коко знаю очень мало и, уж конечно, предпочитаю беседу с вами...

– Очень вам благодарен, – перебил его Потугин, вставая и раскланиваясь, – но я уже так-таки многоноcko беседовал с вами, то есть, собственно, говорил я один, а вы, вероятно, сами по себе заметили, что человеку всегда как-то совестно и неловко становится, когда он много наговорит – один. Особенно так, с первого

раза: вот, мол, я каков, посмотри! До приятного свиданья... А я, повторяю, очень рад моему знакомству с вами.

– Да постоит, Созонт Иваныч, скажите, по крайней мере, где вы живете и долго ли здесь намерены остаться?

Потугина как будто слегка покорило.

– С неделю я еще останусь в Бадене, а впрочем, мы можем сходиться вот тут, у Вебера или у Маркса. А не то я к вам зайду.

– Все-таки мне нужно знать ваш адрес.

– Да. Но вот что: я не один.

– Вы женаты? – внезапно спросил Литвинов.

– Нет, помилуйте... зачем так несообразно говорить?..

Но со мной девица.

– А! – с вежливою ужимкой, как бы извиняясь, промолвил Литвинов и потупил глаза.

– Ей всего шесть лет, – продолжал Потугин. – Она сирота... дочь одной дамы... одной моей хорошей знакомой. Уж мы лучше будем сходиться здесь. Прощайтесь.

Он нахлобучил шляпу на свою курчавую голову и быстро удалился, мелькнув раза два под газовыми рожками, довольно скупо освещающими дорогу, ведущую к Лихтенталевской аллее.

"Странный человек! – думал Литвинов, направляясь к гостинице, в которой остановился. – Странный человек! Надо будет отыскать его". Он вошел в свою комнату: письмо на столе бросилось ему в глаза. "А! от Тани!" – подумал он и заранее обрадовался; но письмо было из деревни, от отца. Литвинов сломил крупную гербовую печать и принялся было читать...Сильный, очень приятный и знакомый запах поразил его. Он оглянулся и увидел на окне в стакане воды большой букет свежих гелиотропов. Литвинов нагнулся к ним не без удивления, потрогал их, понюхал... Что-то как будто вспомнилось ему, что-то весьма отдаленное... но что именно, он не мог придумать. Он позвонил слугу и спросил его: откуда взялись эти цветы?

Слуга отвечал, что их принесла дама, которая не хотела назваться, но сказала, что он, мол, "герр Злуитенгоф", по самым этим цветам непременно должен догадаться, кто она такая. Литвинову опять как будто что-то вспомнилось... Он спросил у слуги: какой наружности была дама? Слуга объяснил, что она была высокого роста и прекрасно одета, а на лице имела вуаль.

– Вероятно, русская графиня, – прибавил он.

– Почему вы так полагаете? – спросил Литвинов.

– Она мне дала два гульдена, – ответил слуга и осклабился.

Литвинов услал его и долго потом стоял в раздумье перед окном; наконец, однако, махнул рукой и снова принялся за письмо из деревни. Отец изливал в нем свои обычные жалобы, уверял, что хлеба никто даже даром не берет, что люди вышли вовсе из повиновения и что, вероятно, скоро наступит конец света. "Вообрази ты себе, – писал он между прочим, – последнего моего кучера, калмычонка, помнишь? испортили, и непременно так бы и пропал человек, и ездить было бы не с кем, да, спасибо, добрые люди надоумили и посоветовали отослать больного в Рязань к священнику, известному мастеру против порчи; и лечение действительно удалось как нельзя лучше, в подтверждение чего прилагаю письмо самого батюшки, яко документ". Литвинов с любопытством пробежал этот документ.

В нем обозначалось, что "дворовый человек Никанор Дмитриев был одержим болезнью, по медицинской части недоступною; и эта болезнь зависящая от злых людей; а причиной он сам, Никанор, ибо свое обещание перед некою девицей не

сполнил, а потому она через людей сделала его никуда не способным, и если бы не я в этих обстоятельствах объявился ему помощником, то он должен был совершенно погибнуть, как червь капустная; но аз, надеясь на всевидящее око, сделался ему опорой в его жизни; а как я оное совершил, сие есть тайна; а ваше благородие прошу, чтоб оной девице впредь такими злыми качествами не заниматься и даже пригрозить не мешает, а то она опять может над ним злодействовать". Задумался Литвинов над этим документом; повеяло на него степною глубиью, слепым мраком заплесневшей жизни, и чудно показалось ему, что он прочел это письмо именно в Бадене. Между тем полночь уже давно пробил; Литвинов лег в постель и задул свечу.

Но он не мог заснуть: виденные им лица, слышанные им речи то и дело вертелись и кружились, странно сплетаясь и путаясь в его горячей, от табачного дыма разболевшейся голове. То чудилось ему мычанье Губарева и представлялись его вниз устремленные глаза с их тупым и упрямым взглядом; то вдруг эти самые глаза разгорались и прыгали, и он узнавал Суханчикову, слышал ее трескучий голос и невольно, шепотом, повторял за нею: "Дала, дала пощечину"; то выдвигалась перед ним нескладная фигура Потугина, и он в десятый, в двадцатый раз припоминал каждое его слово; то, как куколка из табакерки, выскакивал Ворошилов в своем общелкнутом пальто, сидевшем на нем, как новый мундирчик, и Пищалкин мудро и важно кивал отлично выстриженною и действительно благонамеренною головой; а там Биндасов гаркал и ругался, и Бамбаев восторгался слезливо...

А главное: этот запах, неотступный, неотвязный, сладкий, тяжелый запах не давал ему покоя, и все сильнее и сильнее разливался в темноте, и все настойчивее напоминал ему что-то, чего он никак уловить не мог... Литвинову пришло в голову, что запах цветов вреден для здоровья ночью в спальне, и он встал, ощупью добрал до букета и вынес его в соседнюю комнату; но и оттуда проникал к нему в подушку, под одеяло, томительный запах, и он тоскливо переворачивался с боку на бок. Уже лихорадка начинала подкрадываться к нему; уже священник, "мастер против порчи", два раза в виде очень прыткого зайца с бородой и косичкой перебежал ему дорогу, и, сидя в огромном генеральском султানে, как в кусте, соловьем защелкал над ним Ворошилов... как вдруг он приподнялся с постели и, всплеснув руками, воскликнул: "Неужели она, не может быть!"

Но для того, чтоб объяснить это восклицание Литвинова, мы должны попросить снисходительного читателя вернуться с нами за несколько лет назад...

В начале пятидесятих годов проживало в Москве, в весьма стесненных обстоятельствах, чуть не в бедности, многочисленное семейство князей Осининых. То были настоящие, не татаро-грузинские, а чистокровные князья, Рюриковичи; имя их часто встречается в наших летописях при первых московских великих князьях, русской земли собирателях; они владели обширными вотчинами и многими поместьями, неоднократно были жалованы за "работы и кровь и увечья", заседали в думе боярской, один из них даже писался с "вичем"; но попали в опалу по вражьему наговору в "ведунстве и кореньях"; их разорили "странно и всеконечно", отобрали у них честь, сослали их в места заглазные; рухнули Осинины и уже не справились, не вошли снова в силу; опалу с них сняли со временем и даже "московский дворишко" и "рухлядишку" возвратили, но ничто не помогло. Забеднял, "захудал" их род – не поднялся ни при Петре, ни при Екатерине и, все мельчая и понижаясь, считал уже частных управляющих, начальников винных контор и квартальных надзирателей в числе своих членов. Семейство Осининых, о котором у нас зашла речь, состояло из мужа, жены и пяти человек детей. Проживало оно около Собачьей площадки, в одноэтажном деревянном домике, с полосатым парадным крылечком на улицу, зелеными львами на воротах и прочими дворянскими затеями, и едва-едва сводило концы с концами, долгая в овощную лавочку и частенько сидя без дров и без свеч по зимам.

Сам князь был человек вялый и глуповатый, некогда красавец и франт, но совершенно опустившийся; ему, не столько из уважения к его имени, сколько из внимания к его жене, бывшей фрейлине, дали одно из московских старозаветных мест с небольшим жалованьем, мудреным названием и безо всякого дела; он ни во что не вмешивался и только курил с утра до вечера, не выходя из шлафрока и тяжело вздыхая. Супруга его была женщина больная и озлобленная, постоянно озабоченная хозяйственными дрызгами, помещением детей в казенные заведения и поддержкой петербургских связей; она никак не могла свыкнуться с своим положением и удалением от двора.

Отец Литвинова, в бытность свою в Москве, познакомился с Осиниными, имел случай оказать им некоторые услуги, дал им однажды рублей триста займы; и сын его, будучи студентом, часто к ним навещался, кстати ж, его квартира находилась не в дальнем расстоянии от их дома. Но не близость соседства

привлекала его, не плохие удобства их образа жизни его соблазняли: он стал часто посещать Осининых с тех пор, как влюбился в их старшую дочь Ирину.

Ей минуло тогда семнадцать лет; она только что оставила институт, откуда мать ее взяла по неприятности с начальницей. Неприятность произошла от того, что Ирина должна была произнести на публичном акте приветственные стихи попечителю на французском языке, а перед самым актом ее сменила другая девица, дочь очень богатого откупщика. Княгиня не могла переварить этот афронт; да и сама Ирина не простила начальнице ее несправедливости; она уже заранее мечтала о том, как на виду всех, привлекая всеобщее внимание, она встанет, скажет свою речь, и как Москва потом заговорит о ней...

И точно: Москва, вероятно, заговорила бы об Ирине. Это была девушка высокая, стройная, с несколько впалую грудью и молодыми узкими плечами, с редкою в ее лета бледно-матовою кожей, чистою и гладкою как фарфор, с густыми белокурыми волосами; их темные пряди оригинально перемежались другими, светлыми. Черты ее лица, изящно, почти изысканно правильные, не вполне утратили то простодушное выражение, которое свойственно первой молодости; но в медлительных наклонениях ее красивой шейки, в улыбке, не то рассеянной, не то усталой, сказывалась нервическая барышня, а в самом рисунке этих чуть улыбающихся, тонких губ, этого небольшого, орлиного, несколько сжатого носа было что-то своевольное и страстное, что-то опасное и для других, и для нее.

Поразительны, истинно поразительны были ее глаза, исчернасерые, с зеленоватыми отливами, с поволокой, длинные, как у египетских божеств, с лучистыми ресницами и смелым взмахом бровей. Странное выражение было у этих глаз: они как будто глядели, внимательно и задумчиво глядели из какой-то неведомой глубины и дали. В институте Ирина слыла за одну из лучших учениц по уму и способностям, но с характером непостоянным, властолюбивым и с бедовою головою; одна классная дама напороочила ей, что ее страсти ее погубят – "Vos passions vous perdront"; зато другая классная дама ее преследовала за холодность и бесчувственность и называла ее "une jeune fille sans coeur".

Подруги Ирины находили ее гордою и скрытною, братья и сестры ее побаивались, мать ей не доверяла, а отцу становилось неловко, когда она устремляла на него свои таинственные глаза; но и отцу и матери она внушала чувство невольного уважения не в силу своих качеств, а в силу особенных, неясных ожиданий, которые она в них возбуждала, бог ведает почему.

– Вот ты увидишь, Прасковья Даниловна, – сказал однажды старый князь, вынимая чубук изо рта, – Аринка то нас еще вывезет.

Княгиня рассердилась и сказала мужу, что у него "des expressions insupportables", но потом задумалась и повторила сквозь зубы:

– Да... и хорошо бы нас вывезти.

Ирина пользовалась почти неограниченной свободой в родительском доме; ее не баловали, даже немного чуждались ее, но и не прекословили ей: она только того и хотела... Бывало, при какой-нибудь уже слишком унижительной сцене: лавочник ли придет и станет кричать на весь двор, что ему уж надоело таскаться за своими же деньгами, собственные ли люди примутся в глаза бранить своих господ, что вы, мол, за князя, коли сами с голоду в кулак свищете, – Ирина даже бровью не пошевелит и сидит неподвижно, со злою улыбкою на сумрачном лице; а родителям ее одна эта улыбка горше всяких упреков, и чувствуют они себя виноватыми, без вины виноватыми перед этим существом, которому как будто с самого рождения дано было право на богатство, на роскошь, на поклонение.

Литвинов влюбился в Ирину, как только увидел ее (он был всего тремя годами старше ее), и долгое время не мог добиться не только взаимности, но и внимания. На ее обращении с ним лежал даже отпечаток какой-то враждебности; точно он обидел ее и она глубоко затаила обиду, а простить ее не могла. Он был слишком молод и скромн в то время, чтобы понять, что могло скрываться под этою враждебною, почти презрительною суровостью. Бывало, забыв лекции и тетради, сидит он в невеселой гостиной осининского дома, сидит и украдкой смотрит на Ирину: сердце в нем медленно и горестно тает и давит ему грудь; а она как будто сердится, как будто скучает, встанет, пройдет по комнате, холодно посмотрит на него, как на стол или на стул, пожмет плечом и скрестит руки; или в течение целого вечера, даже разговаривая с Литвиновым, нарочно ни разу не взглянет на него, как бы отказывая ему и в этой милостыне; или, наконец, возьмет книжку и уставится в нее, не читая, хмурится и кусает губы, а не то вдруг громко спросит у отца или у брата: как по-немецки "терпение"?

Он попытался вырваться из заколдованного круга, в котором мучился и бился безустанно, как птица, попавшая в западню; он отлучился на неделю из Москвы. Чуть не сошел с ума от тоски и скуки, весь исхудалый, больной, вернулся он к

Осининым... Странное дело! Ирина тоже заметно похудела за эти дни, лицо ее пожелтело, щеки осунулись... но встретила она его с большей еще холодностью, с почти злорадным небрежением, точно он еще увеличил ту тайную обиду, которую ей нанес... Так мучила она его месяца два. Потом в один день все изменилось. Словно вспыхнула пожаром, словно грозовой тучей налетела любовь. Однажды – он долго помнил этот день – он опять сидел в гостиной Осининых у окна и смотрел бессмысленно на улицу, и досадно ему было, и скучно, и презирал он самого себя, и с места двинуться он не мог...

Казалось, теки река тут же под окном, бросился бы он в нее с ужасом, но без сожаления. Ирина поместилась недалеко от него и как-то странно молчала и не шевелилась. Она уже несколько дней не говорила с ним вовсе, да и ни с кем она не говорила; все сидела, подпершись руками, словно недоумевала, и лишь изредка медленно осматривалась кругом. Это холодное томление пришлось, наконец, невмочь Литвинову; он встал и, не прощаясь, начал искать свою шапку. "Останьтесь", – слышался вдруг тихий шепот. Сердце дрогнуло в Литвинове, он не сразу узнал голос Ирины: что-то небывалое прозвучало в одном этом слове. Он поднял голову и остолбенел: Ирина ласково, да, ласково глядела на него. "Останьтесь, – повторила она, – не уходите. Я хочу быть с вами". Она еще понизила голос: "Не уходите... я хочу". Ничего не понимая, не сознавая хорошенько, что он делает, он приблизился к ней, протянул руки...

Она тотчас подала ему обе свои, потом улыбнулась, вспыхнула вся, отвернулась и, не переставая улыбаться, вышла из комнаты... Через несколько минут она возвратилась вместе с младшею сестрой, опять взглянула на него тем же долгим и кротким взглядом и усадила его возле себя... Сперва она ничего не могла сказать: только вздыхала и краснела; потом начала, словно робея, расспрашивать его об его занятиях, чего она прежде никогда не делала. Вечером того же дня она несколько раз принималась извиняться перед ним в том, что не умела оценить его до сих пор, уверяла его, что она теперь совсем другая стала, удивила его внезапною республиканскою выходкой (он в то время благоговел перед Робеспьером и не дерзал громко осуждать Марата), а неделю спустя он уже знал, что она его полюбила. Да; он долго помнил тот первый день... но не забыл он также и последующих – тех дней, когда, еще силясь сомневаться и боясь поверить, он с замираниями восторга, чуть не испуга, видел ясно, как нарождалось, росло и, неотразимо захватывая все перед собою, нахлынуло, наконец, неожиданное счастье. Наступили светлые мгновенья первой любви, мгновенья, которым не суждено, да и не следует повторяться в одной и той же жизни. Ирина стала вдруг покладлива как овечка, мягка как шелк и бесконечно добра; принялась давать уроки своим младшим сестрам – не на

фортепьяно, – она не была музыкантшей – но во французском языке, в английском; читала с ними их учебники, входила в хозяйство; все ее забавляло, все занимало ее; она то болтала без умолку, то погружалась в безмолвное умиление; строила различные планы, пускалась в нескончаемые предположения о том, что она будет делать, когда выйдст замуж за Литвинова (они нисколько не сомневались в том, что брак их состоится), как они станут вдвоем...

"Трудиться?" – подсказывал Литвинов... "Да, трудиться, – повторяла Ирина, читать... но главное – путешествовать".

Ей особенно хотелось оставить поскорее Москву, и когда Литвинов представлял ей, что он еще не кончил курса в университете, она каждый раз, подумав немного, возражала, что можно доучиться в Берлине или... там где-нибудь. Ирина мало стеснялась в выражении чувств своих, а потому для князя и княгини расположение ее к Литвинову оставалось тайной недолго. Обрадоваться они не обрадовались, но, сообразив все обстоятельства, не сочли нужным наложить тотчас свое "veto". Состояние Литвинова было порядочное...

"Но фамилия, фамилия!.." – замечала княгиня. "Ну, конечно, фамилия, отвечал князь, – да все ж он не разночинец, а главное: ведь Ирина не послушается нас. Разве было когда-нибудь, чтоб она не сделала того, чего захотела? Vous connaissez sa violence! Притом же определительного еще ничего нет" – Так рассуждал князь, и тут же, однако, мысленно прибавил: "Мадам Литвинова – и только? Я ожидал другого". Ирина вполне завладела своим будущим женихом, да и он сам охотно отдался ей в руки. Он словно попал в водоворот, словно потерял себя... И жутко ему было, и сладко, и ни о чем он не жалел, и ничего не берег. Размышлять о значении, об обязанностях супружества, о том, может ли он, столь безвозвратно покоренный, быть хорошим мужем, и какая выйдет из Ирины жена, и правильны ли отношения между ними – он не мог решительно; кровь его загорелась, и он знал одно: идти за нею, с нею, вперед и без конца, а там будь что будет! Но, несмотря на всякое отсутствие сопротивления со стороны Литвинова, на избыток порывистой нежности со стороны Ирины, дело все-таки не обошлось без некоторых недоразумений и толчков. Однажды он забежал к ней прямо из университета, в старом сюртуке, с руками, запачканными в чернилах. Она бросилась к нему навстречу с обычным ласковым приветом – и вдруг остановилась.

– У вас нет перчаток, – с расстановкою проговорила она и тотчас же прибавила: – фи! какой вы... студент!

- Вы слишком впечатлительны, Ирина, - заметил Литвинов.

- Вы... настоящий студент, - повторила она, - vous n'etes pas distingue.

И, повернувшись к нему спиной, она вышла вон из комнаты. Правда, час спустя она умоляла его простить ее... Вообще она охотно казнилась и винилась перед ним; только - странное дело! она часто, чуть не плача, обвиняла себя в дурных побуждениях, которых не имела, и упорно отрицала свои действительные недостатки. В другой раз он застал ее в слезах, с головою, опертою на руки, с распущенными локонами; и когда, весь перетревоженный, он спросил о причине ее печали, она молча указала пальцем себе на грудь. Литвинов невольно вздрогнул.

"Чохотка!" - мелькнуло у него в голове, и он схватил ее за руку.

- Ты больна? - произнес он трепетным голосом (они уже начали в важных случаях говорить "ты" друг другу). - Так я сейчас за доктором...

Но Ирина не дала ему докончить и с досадой топнула ножкой.

- Я совершенно здорова... но это платье... разве вы не понимаете?

- Что такое?.. это платье... - проговорил он с недоумением.

- Что такое? А то, что у меня другого нет, и что оно старое, гадкое, и я принуждена надевать это платье каждый день... даже когда ты... когда вы приходите... Ты, наконец, разлюбишь меня, видя меня такой замарашкой!

- Помилуй, Ирина, что ты говоришь! И платье это премилое... Оно мне еще потому дорого, что я в первый раз в нем тебя видел.

Ирина покраснела.

- Не напоминайте мне, пожалуйста, Григорий Михайлович, что у меня уже тогда не было другого платья.

– Но уверяю вас, Ирина Павловна, оно прелесть как идет к вам.

– Нет, оно гадкое, гадкое, – твердила она, нервически дергая свои длинные мягкие локоны. – Ох, эта бедность, бедность, темнота! Как избавиться от этой бедности! Как выйти, выйти из темноты!

Литвинов не знал, что сказать, и слегка отворотился...

Вдруг Ирина вскочила со стула и положила ему обе руки на плечи.

– Но ведь ты меня любишь? Ты любишь меня? – промолвила она, приблизив к нему свое лицо, и глаза ее, еще полные слез, засверкали веселостью счастья. Ты любишь меня и в этом гадком платье?

Литвинов бросился перед ней на колени.

– Ах, люби меня, люби меня, мой милый, мой спаситель, – прошептала она, пригибаясь к нему.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9470136&lfrom=201227127) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Купити: <https://telnovel.me/ivan-turgenev/dym-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)